

БАНЬКА ПО-ЧЕРНОМУ

Наша тель-авивская гостиница для новых эмигрантов занимает четыре этажа. На седьмом этаже, где живу я, всего две газовые плиты. И чтобы вечером разогреть себе консервы, иногда приходится ждать своей очереди по сорок минут. Впереди меня в очереди стоит с ковшиком старик Григорий Савельевич. Я и сам инженер-механик, но Григорий Савельевич был инженером старой школы и строил Днепрогэс. У него даже сохранились почетные грамоты. Ему восемьдесят два года, а его жене семьдесят пять. У них двое детей в Ришон-ле-Ционе, которые обещают их забрать. Пока их не забрали, они живут в нашей олимовской гостинице и стоят в общей очереди на кухне. Григорий Савельевич старше меня на восемнадцать лет, но себя я стариком не считаю, хоть, может быть, и пора. В Тель-Авиве я уже год и после курсов работаю помощником сантехника. Неплохо. Пока я торчу тут в гостинице, на жизнь мне хватает. Напротив меня по коридору живет молодая женщина из Ташкента Валя. Ей тридцать четыре года, а ребенку восемь с половиной. Она относится ко мне с уважением, потому что я нашел себе хорошую работу, а это не всем удастся. И после получки я покупаю ее сыну какие-нибудь сладости. Валя всегда здороваается со мной за руку. Я не задерживаю ее руку. Особенного внимания она на меня не обращает. У нее красивая рука, длинные пальцы. Ладонь всегда сухая. Вообще из-за этой руки я и начал писать свою историю. А может быть потому, что все повторяется. Тридцать четыре года, сухая ладонь, и я снова работаю учеником сантехника. Только на этот раз – сам сантехник из Туниса, и шестьдесят четыре года мне, а не ему. И моего первого сантехника звали не Боаз, а Сергей Пахомович. Но все его называли по отчеству «Пахомыч». Это мелкие стариковские подробности, для меня они имеют значение.

Пахомыч нашел меня в эшелоне, который в конце сорок четвертого года шел с фронта на Восток. Может быть, без него я угодил бы в любой из детских домов, потому что на каждой станции несовершеннолетних снимали с поезда.

К добру или нет, но в детский дом я не попал. Документы у меня были не очень хорошие, но Пахомыч знал мою историю. Он знал, что это не мои документы.

И он прятал меня, пока мы не добрались до Челябинска. У него там были родные, и Пахомыч сказал, что дальше мы не поедem, останемся в Челябинске. Я

добавил себе год и получил паспорт. А уже с паспортом устроился токарем на авиационный завод. Там я жил в общежитии, а Пахомыч жил за городом, в доме у казахов. У казахов детей очень много, но все устраиваются, и квартирного вопроса у них нет. Коек, правда, раньше не существовало, а все полы были закрыты войлочными ковриками. Сначала в таком доме идет помещение для овец, потом стоят коровы, потом лошади, а уже потом живут казахи. Запах сильный, но тепло из дома не выходит. А вот в моем заводском общежитии овец и коров не было, и холод поэтому был жуткий.

В нашем общежитии Пахомыч работал сантехником, а когда освободилось место, потянул за собой меня. Он сказал, что научит меня этой специальности за три дня, а работа будет легче, чем на заводе. Хотя смены тоже по двенадцать часов, но есть каптерка, можно запереться и поспать.

На завод шли работать только дураки. В основном мальчишки из деревни, которых еще не взяли на фронт, и какие-то темные бабы. Демобилизованные после ранений на завод работать не шли.

Забот для сантехника в общежитии хватало. Двенадцать умывальников, но несколько обязательно забьется, или батареи не работают, или котел. Продовольственную карточку свою я сразу продавал: холостякам она была ни к чему, и питался я в столовой. Да на карточку и давали не густо: хлеб, капусту и немного крупы, и еще свирипяное масло. Можно прожить всю жизнь и о таком масле не услышать. Есть такое желтенькое растение с запахом, оно немного горчит. Его давят.

Вечером мы иногда ходили на танцы, но с девушками я не танцевал. Мы танцевали с краю, мальчишки в валенках топтались вокруг друг друга.

Кто был не на смене, по вечерам играл в карты или пил.

После работы я возвращался в свою каптерку и ложился у батареи. Я поставил около своей кровати две секции, и лежать там было тепло. На соседних двух койках спали кочегар и рябой возчик. Я старался прижаться к батарее и думать о чем-то постороннем. О нормальной еде или о том, кто скрутил кран в умывальнике. Засыпать было страшно.

Я уже, конечно, видал разные виды, но мне до сих пор всегда снился расстрел.

Или снилось, как падает мама и пятилетняя сестренка. И как мы с братом выползаем ночью из расстрельной ямы. Или снился партизанский отряд, в котором я отвоевал два года.

К пятнадцати годам я имел уже четыре ранения. Два осколка сидят еще сейчас: в голове и в пояснице. Но ветераном войны меня не признают, потому что справок у меня нет, а свидетели давно на том свете. Барышня из Министерства Абсорбции сказала мне, что «осколки – это не доказательство». Каждый может насажать себе в голову осколков, может быть, просто взорвался бытовой электроприбор. И я с ней вежливо согласился.

Когда в сорок пятом году я слышал, что евреи отсиживаются по тылам, я сразу лез в драку, но к шестидесяти четырем годам я стал спокойнее, и спекулировать своими ранениями мне не хочется. Последнее ранение я вообще получил случайно: я возвращался с задания и шел мимо станции, где наши ребята завязали бой с полициями. И мне кричат: «Пацан, бери у раненого винтовку и отстреливайся!», – а очнулся я уже в госпитале. Вообще они не кричали «пацан», они звали меня по имени, но у меня в жизни так получилось, что я прожил до старости по чужим документам, и свое настоящее имя мне вспоминать тяжело.

Когда я закрывал глаза на койке, мне мерещилось, что я в кого-то стреляю. В полицаев или в немцев – пленных мы не брали.

Мне и сейчас еще иногда это снится, хоть прошло уже без малого пятьдесят лет. Но сейчас я очень устаю и сразу засыпаю. Работа подсобника тяжелая, батареи приходится носить по этажам наверх, а сколько мне лет, мой хозяин пока не знает.

Зато с едой в Израиле нормально. Нет только свирипяного масла. Но я не большой любитель насчет еды, да и раньше им не был. В сорок пятом году в столовой кормили супом: перловка или крапива, изредка попадался кубик картошки. Днем суп, а вечером хлеб. Иногда я покупал что-нибудь у торговков, если были деньги. Покупал я тоже хлеб или сахар.

Начальником заводского общежития у нас была полька. Она же была воспитателем: ходила и целыми днями просила работяг, чтобы не ложились спать в одежде. Меня она тоже обычно по пути отчитывала, но я всегда огрызался. Я уже свои два года отвоевал, и я не любил, когда мне делают замечания бабы. Женщин, кстати, в нашем отряде почти не было. У

хозяйственника была жена, но я редко ее видел, и еще старуха Анисимовна готовила поесть. Может быть, еще парочка была, но таких, которые без признаков пола. И я, конечно, знал, от чего рождаются дети, но не больше. Я даже от мата краснел, как девочка, долго не мог привыкнуть. И начальница нашего общежития была для меня существом совершенно с другой планеты. Ее звали Стелла. Сколько я помню, начальница всегда ходила по общежитию в вязанных шерстяных платьях и в белейших валеночках. Или валенки она снимала у себя в кабинете и надменно шла по коридору в туфлях на высоких каблуках. И на плечи была накинута кашемировая шаль с большими цветами. Прошло пятьдесят лет, но такой я ее запомнил.

В сорок пятом году моей начальнице было тридцать четыре года. Красивая была полька – невероятно. Копна белых волос, две ямочки на щеках, закрытый воротничок, и говорила с милым-милым акцентом. За год до этого у нее на фронте погиб муж. Тоже поляк, из польской армии. Когда я представлял себе его, я думал, что у такой женщины муж должен быть генералом. У нас командир отряда был майором, но я даже представить себе их вместе не мог.

Недалеко от завода находилась польская часть, и я знал, что польские солдаты после смерти мужа построили ей большой бревенчатый дом с баней. Это все, что я пока о ней знал. Работяги иногда называли ее «шалава», но она на грубости мальчишкам никогда не отвечала.

Я помню, как я лежал зимой на своей койке, уже начало темнеть. В этот день в общежитии была какая-то авария, но мы с ней справились. И работать оставалось еще часа четыре. Кочегара и возчика в комнате не было, но я слышал, как Стелла вошла, включила свет и сказала мне недовольно: «Мальчик, сколько ты будешь валяться на кровати с грязными ногами? Когда ты научишься ходить в душ?» Она залезла ко мне в тумбочку, вышвырнула оттуда все мое белье, осмотрела его и поморщилась.

Потом она сказала: «Мальчик, белье не должно быть таким грязным. Вот тебе ключ, ты знаешь, где я живу? Если дочки нет дома, откроешь себе сам. Наруби дрова во дворе. Ты умеешь истопить баню? Добже!» Я сказал: «Я еще смену не сдал, мне до семи работать», но она только отмахнулась, сказала: «с твоей работой не будет ничего», и я потащился к ней.

На пригорке стоял крепкий сибирский сруб. Дверь была заперта. Но я не стал возиться с ключом, а просто перемахнул через забор и начал колоть дрова. Напиленные чурки привозили из польской части. Дочка пришла домой, когда я

уже топил. Дочке было лет четырнадцать. Она была похожа на мать, только веснушчатая и рыжая. Дочь последила за мной глазами, потом спросила: «Это мама вас прислала?» Я сказал «да». Она говорила по-русски чисто, как говорят сибиряки. Дочка была в седьмом классе. Я был старше ее на полтора года, но я пропустил несколько классов из-за войны. Я топил, а дочка делала уроки. Я следил, как она делает уроки, из-за ее плеча и подсказывал правильные ответы. Я решил, что она мне не нравится. Она была ужасно вялой, все время казалось, что она вот-вот заснет. Даже звали ее сонным именем Фаина.

Уже совсем стемнело, когда начальница вернулась домой с работы. Я посмотрел на нее исподлобья и сказал, что все готово. Она положила на табуретку сумочку и неожиданно погладила меня по голове. Я не любил, когда ко мне относились как к маленькому, и покраснел.

Полька сказала: «Не выскакивай без ватника на улицу, ты простудишься, мальчик». Я ничего не ответил. Я не простужался без ватника. Я два года прожил с партизанами в землянках, у меня было две медали. Полька зашла в баню, вдохнула и сказала «хватит». И попросила наносить в котел чистого снега. И я начал носить снег, но снег сразу таял, и воды оставалось очень мало. Наконец, я наполнил котел и вернулся в дом. Она сказала: «Иди умой руки, мальчик!» Но я проследил за ее взглядом, нашел тряпку и вытер от снега пол. Я знал, что она ненавидела, когда пол оставался мокрым.

Потом мы сели ужинать. Стелла выставила из шифоньера не «самогон», а настоящую «московскую» водку, и чуточку выпила. Она все время нам улыбалась и говорила мне с акцентом «молодец». Дочке она сказала: «мальчик у нас працует» и продолжала спрашивать меня и ее о школе. Но настоящего светского разговора не получалось. Меня очень разморило, я даже засыпал за столом. Непривычным было, что пища была нормальной. Как у меня дома. Полька пошла в свою комнату и вынесла мне пачку мужского белья и халат. Я никогда раньше не видел махровых полотенец. Я был не из бедной семьи, просто у мамы и папы было очень много детей. Они все погибли в один день. Только мы с братом выбрались, потому что в момент, когда раздались выстрелы, брат столкнул меня в яму.

Начальница сказала: «иди, мальчик, мойся», – и продолжала говорить с дочкой. И я пошел в баню. Я был неспокоен. У меня было какое-то странное предчувствие, но я не мог объяснить его словами.

Я уселся на широченную струганную лавку и начал медленно намываться. Когда я кончил мыться, начальница зашла через тамбур. В доме у них было три большие комнаты и коридор. А в баньку можно было попасть через тамбур. Она вошла в халатике, а я сразу сел на корточки и стал от нее прятаться. Но начальница сказала: «Что ж ты прячешься, мальчик?». И само собой получилось, что мы перешли на «ты» и я назвал ее Стеллой. Она сказала: «Ложись, я помою тебе спину!».

Я лег на живот, и она стала меня всего мыть. Очень медленно. Ничего, кроме этого, не происходило. Я как-то странно относился к происходящему. Я ей подчинялся, как пьяный. Потом мы вернулись в комнату и выпили еще чаю. Она включила мне приемник и сказала: «Теперь, мальчик, пойду мыться я». Дочка тем временем посмотрела на меня, повертела плечами и пошла к себе в комнату. А я сидел в махровом халате и думал, в чем же теперь мне возвращаться к себе в общежитие. Может быть, она мою одежду сожгла?

Но в общежитие мне возвращаться не пришлось.

Через десять минут Стелла крикнула мне из бани: «Мальчик, иди помоги мне!». И я, еще ничего не понимая, пошел. Она сказала: «Теперь твоя очередь помыть меня», – приподнялась на лавке и протянула мне мочалку. Мочалки были из грубой рогожи, но розовое туалетное мыло я тоже видел впервые. «А что делать с халатом?» – спросил я. «А халат повесь рядом с моим», – ответила она по-польски, глядя на меня в полутьме.

То, что потом происходило, мне не очень понравилось. Ничего грязного не было, и я мог бы это описать, но я не люблю, когда об этом рассказывают старики. Вот это мне кажется неприличным. И в бане я ничего испытать не успел. Когда в бане стало холодно и доски начали остывать, Стелла одела меня и отвела к себе в комнату.

Даже дверь к себе в комнату не закрыла – сдвинула две кровати и сказала мне «ложись», но я попросил ее закрыть дверь, потому что она вскрикивала или бормотала какие-то польские слова, а я боялся, что она разбудит дочь.

Перед сном я в первый раз засмеялся и подумал, «...вот от чего рождаются дети».

Спать Стелла вообще не ложилась. Сказала мне утром: «На работу сегодня не пойдешь. Вот тебе еда на кухне!»

Следующая ночь прошла точно также. Но мне еще долго это не очень нравилось, наверное, целую неделю. А через неделю я уже с трудом дожидался ее прихода. На работу в общежитие я уже больше никогда не возвращался.

Сейчас я понимаю, что я единственный раз в жизни был счастлив. И любил только одну женщину, хоть я пару раз был удачно женат и у меня взрослые дети.

Стелла вернулась с работы в полдень и крикнула с порога: «Дети, вы уже покушали?!» А я весь день только и делал, что ел. И читал «Капитанскую дочку».

У нее была большая библиотека, и потом я читал Бальзака и Мопассана, но в первое утро я сидел в халате и читал Пушкина. С самого начала войны это была первая книга, которую я прочитал! Вот так начался мой военный брак.

Ночью она сообщила мне, что вместо меня сантехником уже взяли здоровенного деревенского парня. Стелла сказала: «Там тебе больше делать нечего, а ему повезло, я взяла его из цеха!». По утрам я читал, потом помогал Фаине делать уроки. Дочка оказалась ужасно ленивой дурой. Ей совсем не давалась алгебра, и я каждый день повторял с ней правила и решал за нее задачи. Сидел с ней и твердил наизусть куб суммы и куб разницы. Днем в обед всегда приходил кто-нибудь из польских солдат и приносил мешок с галифе и с гимнастерками. Скоро я начал получать от Стеллы задания относить эти вещи на базар и продавать их, не особенно торгуясь. Что-то я продавал за три тысячи, а что-то за две восемьсот. С солдатами я должен был расплачиваться дома, деньги лежали в шифоньере в Стеллиной комнате, а гражданским я говорил, чтобы приходили попозже. Пахомыч сказал мне, что на Стеллу работают «краснушники» – люди, которые обворовывали железнодорожные вагоны.

Я все рассказал Пахомычу про свою жизнь. Ох, как он расстраивался, мне не передать. Все повторял: «Зинька, Зинька, ты связался с проституткой!» Но это была неправда. И я не мог объяснить Пахомычу, как я ее люблю.

К весне к нам в дом начали носить отрезы. Я должен был относить их брючникам. Тут я стал замечать, что в Челябинске очень много евреев. И они тоже чувствовали, что я свой. Деньги с брючников получала моя Стелла. Я ничего не давал ей делать самой, я готовил, я стирал, я топил плиту. Я не хотел, чтобы она марала себе руки. Дочь Фаина понимала, что ее мать завела себе любовника, но ничего нам не говорила. А я никогда не спрашивал, жил ли со

Стеллою кто-нибудь до меня. Иногда она уходила на вечера в польскую часть, но возвращалась всегда не поздно и всегда трезвой. Но меня она с собой не брала. Только один раз, когда в город приезжала Клавдия Шульженко. Выряжен я был с иголки! Она сшила мне как партийному работнику галифе и бурки на меху! Шила она у евреев, а меня называла племянником. Они, конечно, чувствовали, что дело неладно, но помалкивали. По вечерам к нам приходили гости. В основном, это были польские офицеры с ее подругами. Одна подруга была полька – сержант, она служила в их части. Но все остальные были русскими и вдобавок довольно образованными: бухгалтеры, инженеры, заводская интеллигенция. Ничего плохого про стеллиных подруг я сказать не могу, только пили они все здорово. И Стелла с какого-то момента стала их подразнивать: «Что там ваши мужики, вот мой Зинька – это мужчина!». Стелла знала, что меня зовут по-другому, но она просила меня больше никому об этом не рассказывать.

Подруги усмехались и внимательно меня оглядывали.

Потом она стала меня к ним посылать. Первой была ее подруга с завода, которую звали Лиля. Мы сидели вечером за столом и записывали «пулю», и эта Лиля сказала как бы невзначай: «Я пойду у тебя в бане искупаюсь?» Все были пьяными, только я почти не пил.

Лиля открыла шифоньер, взяла халат и ушла по коридору в баню. А через несколько минут Стелла послала меня мыть ей спину. Я не помню, о чем я думал, когда шел по коридору мыть эту взрослую женщину. Может быть, я думал, что идет война, но я уже свое отвоевал. Что у меня красавица-жена, с которой я сплю каждую ночь. Что сейчас одна женщина ждет меня в бане, а еще три сидят за моей спиной и о чем-то шепчутся. Я зашел в баню, и Лиля сразу заперла дверь изнутри. Прошло около часа, и Стелла постучала в дверь и сказала: «Хватит вам!».

С этой ночи Стеллины подруги стали моей работой.

Я спрашивал Стеллу: «Зачем тебе это?» «А я им доказываю, что таких мужчин, как ты, нет».

Раза три в неделю то одна, то другая подруга приходили с узелком белья, и я шел топить баню. Я их всех ненавидел. Я ненавидел их кожу, их ребра. Сейчас мне шестьдесят четыре года, и я должен думать о стеллиных подругах как о молодых военных девочках. Им было по тридцать. Две из них были вдовами. Но

я все равно и сейчас с содроганием вспоминаю об этих нелюбимых тридцатилетних старухах. И каждую ночь я прятался от них на груди у своей жены. Стелла спрашивала: «Тебе понравилась хоть одна?» Я всегда отвечал ей честно: «Нет, я хочу быть только с тобой». Но она смеялась в ответ, говорила: «Ничего с тобой не случится, в жизни бывает хуже». Я называл ее женой, потому что она всегда была моей женой. Стелла тоже, видимо, не собиралась со мной разлучаться. Она собиралась уезжать в Польшу и сказала, что берет меня с собой. А пока мне нужно было выучиться на шофера. У нас в Польше будет свой бизнес, и муж должен быть шофером. Паспорт у меня уже был, и я выучился на мужа-шофера. Мне самому нужно было уезжать. Я уже полтора года был в розыске. Командир нашего отряда дал мне чужие документы и мешок денег и сказал, что он бессилен мне помочь. Я расстрелял двух бывших полицаев, расстрелял на глазах у всей деревни. Полицаев, которые выдали нас с братом немцам. Мы случайно постучались к ним в дом ровно через сутки после нашего расстрела.

Я смотрю сейчас в окно своей гостиницы и вижу, как по Тель-Авиву едут мальчишки-шоферы. И у каждого из них происходит жизнь, о которой никому не известно. Потом они тоже станут стариками, и придется подводить итоги. Они будут сидеть в пустой комнате на другом краю света, и каждый будет вспоминать свою войну и свой «Челябинск». Мне очень стыдно в этом признаться, что у меня нет совсем никаких угрызений совести. Большую часть вещей, которые я делал в жизни, я бы повторил снова. Но своим детям я в этом признаваться бы не стал.

Лето в Челябинске не очень длинное. Лето прошло, как во сне. Стелла забеременела. Это была заключительная фаза нашей совместной жизни. Самая спокойная и самая ужасная. «Я хочу из России уехать с ребенком!» – много раз повторяла она. Меня пугала мысль стать отцом, но мне нравилось, что она беременна. Мне нравилось, что мы вместе ездили на пляж, и она даже с животом была красивее всех на свете. Мне нравилось, что я стал хозяином в доме и прогнал всех ее подруг. Меня больше никто не тащил тискаться в баню, и никто не подстерегал днем на улице. Я заработал свою свободу. Но беременность Стелла переносила очень тяжело и с шестого месяца до самых родов пролежала в роддоме на сохранении. Пока не родила мальчика, моего сына. Ему сейчас, наверное, сорок шесть лет. И живет он в Польше или в Америке. А может быть в Аргентине или даже рядом со мной в Тель-Авиве. Теоретически каждый мужчина, которому сейчас сорок шесть лет, может оказаться моим сыном. Но я

ничего о нем не знаю. Совершенно ничего не знаю, ноль. Последний раз я держал его на руках, когда ему был месяц. Стелла вышла ко мне из комнаты и сказала: «Уходи. Возьми деньги из шкафа и уходи». Я взял деньги из шкафа, оделся, и жизнь моя навсегда закончилась. Мне нечего было возразить и не хотелось оправдываться.

Потом была моя служба во флоте и три года лагерей. Потом я много лет учился и, кажется, научился отвечать на все сложные вопросы. Но на один вопрос я ответить не могу до сих пор. Как получилось, что здоровая рыжая дылда ее дочка, которая не в состоянии была выучить алгебру, которую я не выносил и терпел ее только из-за матери, как она вдруг оказалась беременной? Как это произошло, я до сих пор понять не могу. Был мальчик шестнадцати лет – муж, была красивая женщина – его первая жена, была ее дочь, рыжая падчерица, годом младше мужа, была страшная сказочная баня, которая все видела и знала, были взрослые люди, которые нами играли, и была страшная война, которая оправдывала всех.